

Пророк с продранными локтями... или Мой гуру

Ефиму Ярошевскому

...Это из его раннего стихотворения: "Пророком с продранными локтями я становлюсь во главе племен...". Уже не помню, что было дальше, — не помню продолжения... Да и было ли оно?

...Тогда он называл себя "пророком с продранными локтями" (впрочем, произносил он это и ради рокота, который у него здорово получался).

"Мой гуру, — писал я о нем несколько позже, — великолепной лепки голова, длинные черные волосы, зачесанные назад, острый, как бритва (сказал один художник), нос, запекшиеся губы оратора ("горлана, главаря": он был влюблен тогда в Маяковского, завидуя "поэтическим мускулам" того и его напору, ну и "Разговору двух судов на черноморском рейде", конечно...). Взгляд — сверху (он высокого роста), быстрый, как бы искося, внимательно-пронзительный, словно бы именно в этот момент увидевший в собеседнике главное...

Он лежит на деревянном топчане в нашей махонькой комнатке (я сказал "топчане", но хочется сказать "оттоманке"), лежит, подперев великолепную голову худой темной с длинными пальцами рукой и, время от времени проверяюще на меня поглядывая, рассказывает:

— ...Это было лицо, хорошо выдержанное в утреннем зеркале, готовое к предстоящему дню, — лицо красивой женщины...

Наша комнатка, чуть ли не из фанеры комнатка с двумя топчанами и тощими матрацами на них находилась в пионерском лагере на тринадцатой станции Фонтана, здесь мы и познакомились. Я, студент педина, вчерашний матрос, подрабатывал летом в должности "инструктора по плаванию", он пришел сюда наниматься на работу воспитателем.

— Я задержал глаза на ее лице, не скрывая, что люблюсь им, — и эта первая за утро мужская дань была замечена и взята...

Мне нужен был собеседник, ему же нужна была "аудитория", и он нашел ее во мне, чьи способности в то время выражались в умении слушать и слушать: я от своих сверстников, оставшихся на "гражданке", изрядно во всем за четыре года флота поотстал.

На целый месяц я стал этой "аудиторией" Ефима, единственным его слушателем. Свои рассказы он перемежал чтением стихов, читал их вдохновенно, мастерски, то придавливая меня бронзовым гудением: "Опустишься, южной ночи гнет", — то отзываясь на чью-то строчку внутренним звоном: "По рыбам, по звездам пронесит шаланду...". Иные он просто пел высоким голосом: "Дверь, настезь дверь! Качается снаружи обглоданная звездами листва, дымится месяц посредине лужи...".

— Почему по звездам? — сердился я. — И как это листва может быть "обглодана звездами"?

Он, глянув на меня искоса и что-то для себя мгновенно уяснив, объяснял. Я слушал его молча, только глазами показывая, что понял. Он же ронял (рокоча) непонятное: "Рано... рано...".

А тот рассказ продолжался:

— Для троллейбуса она была слишком хорошо одета, она была даже в тонких черных перчатках, несмотря на лето, и я подумал, что, скорее всего, шофер ее благополучного мужа внезапно заболел, или машина сломалась у порога ее дома. Глаза мои были слишком откровенны, они требовали (просили, скорее) хоть какого-то ответа. Можно было ответить мгновенной льдинкой из-под ресниц, отвергнув мое откровенное восхищение, можно было сердито закрыться, как веером, веками... красивая женщина ответила мне иначе. Она сняла перчатку и выставила на мое обозрение свою руку, кисть руки... (Ты заметил, кстати, что слово "кисть" одинаково приложимо к винограду и к руке?)

Это не была рука аристократки, — продолжал Ефим, — с длинными тонкими "нервными", как принято было говорить в блоковские времена, пальцами (все эти руки в 20-х годах уехали за границу), нет, это была пухлая ручка с дивно ухоженной кожей, с тоненькими кончиками недлинных пальцев, с заостренными розовыми ноготками, которые выдавали... хищницу, насытившуюся, но все равно с интересом поглядывавшую на проходящую мимо дичь.

Рука эта не ведала никакой домашней работы, даже, может быть, мытья посуды. Она тончала день ото дня, становилась все более хрупкой. Из всех прикосновений эта рука знала только собственную кожу, не менее нежную, собственные волосы, да, понятно, кожу мужчины. На безымянном пальце было золотое обручальное кольцо самой высокой пробы — цвет его говорил сам за себя: в нем было что-то от купеческой сытости, кустодиевской румяности, упитанности, хотя это слово никак не подходит к драгоценному металлу, розовое, оно матово лоснилось...

Показав мне всего-навсего свою руку с кольцом, женщина ответила таким образом моему взгляду, — вот такая началась телепатия...

— Понимаешь, — отвлекся он, — телепатия существует, но существует она пока только между мужчиной и женщиной...

— ...началась телепатия... — продолжил рассказ Ефим. — Она спросила: "А вправе ли ты коснуться моей руки, взять ее в свои руки? Сможешь ли ты содержать этого зверька — смотри на него — в той же холе, какую он сейчас имеет? А ведь это лишь рука..."

Тут меня пробрала дрожь: почти незаметное глазу движение обнаженной руки и, наверное, тела, вдруг обнажило на мгновение всю женщину. Я не вздрогнул, увидев ее такую, я задохнулся...

А сама рука — я не сводил с нее глаз — продолжила говорить то, чего не успели сказать глаза: "Сможешь ли ты, право же, интересный парень, но так себе одетый, оплатить стол в лесном ресторанчике? Я ведь пью только дорогие коньяки... Сможешь ли ты заткнуть деньгами рот хозяина полутайной гостинички в том же лесу? А на какие подарки ты способен? Ты глянь, глянь на мое золото!..."

Ох, как много сказала мне лежащая на колене, обтянутом дорогой тонкой бежевой тканью, со снятой перчаткой рука! Так много, что я, растерянный от обилия ее откровенных "слов", не успевал отвечать, но, видимо, все-таки ответил — выражением лица, потому что женщина будто бы со вздохом скрыла руку под перчаткой (зверек спрятался в нору), но послала все же мне короткий взгляд, в котором я легко прочитал: "Спасибо тебе, милый, что первым оценил меня в это утро, мне такие взгляды нужны, без них и жизнь не в жизнь. Но..."

Но...

Троллейбус остановился, она встала, она вышла... И, не оборачиваясь, пошла к высокому центра города зданию, стройная, снова недоступная, скрыв свою обольстительную и мало кому доступную руку, прекрасно зная, что я не свожу с нее глаз. Впрочем, на мгновение она, будто чтобы глянуть зачем-то направо, еще раз показала мне свой профиль: точеный носик, полные губы и красивых очертаний подбородок...

Я уже сказал. Ефим пришел заниматься в лагерь на работу воспитателем.

Я в тот день дежурил у ворот и сидел возле них на скамейке, рисуя от нечего делать в блокноте стоящий напротив коряжистый абрикос. Он вошел — белый полотняный костюм и, как мне до сих пор кажется, соломенная шляпа канотье, высокий, черноволосый, с необычайно внимательны-

ми темно-какими глазами, примерно моих лет... Поздоровался картавя и спросил — в голосе его прорывался бархатный актерский баритон — спросил, может ли он увидеть начальника лагеря. Покосился на блокнот, оценил меня, спортивного вида парня, занятого неспортивным делом, и мягко заметил, что вот эта линия, показал, кажется ему слишком жирной, чем сразу расположил меня к себе.

Я отыскал начальника, свел его с пришедшим, потом уговорил шефа принять человека, окончившего свердловский филфак (сведения были сообщены мне по дороге). Шеф доверился мне, спортивного вида парню, и таким образом Ефим оказался в одной со мной комнате.

Из всего, о чем он мне в то лето рассказывал, понятны мне были только его рассказы о встречах с женщинами (речь шла о девушках, но это слово никак не вписывается в строку, слово Женщина, а то еще и Она, звучит иначе, общее, может быть, просто биологично. Итак, он мне рассказывал о встречах, как только что мной приведенная, где все начиналось со взглядов, ими же через несколько минут все и заканчивалось. Был только обмен взглядами, ну и, разумеется, то, что он (и, может быть, она) при этом испытали, какое обещание он получил взамен на свою мольбу... и этого моему гуру было вполне достаточно, чтобы он почувствовал себя счастливым. У его встреч никакого продолжения не было. Он мог встретить эту женщину завтра же, но, не послав ей телепатического своего взгляда, мог пройти мимо нее равнодушно. Таким образом, его рассказы повисали в воздухе, как воздушные шары. На грешную землю они не опускались.

Кажется, он тут же переводил испытанные при встречах чувства в строчки, и строчки становились его достоянием, как, к примеру, донжуанский список ловеласа.

На целый месяц я стал "аудиторией" Ефима, единственным его слушателем.

Кончился лагерный сезон, мы разошлись. Он убрался на свою Молдаванку, на Шолом-Алейхема, где жил со своей полупарализованной матерью, я — в общежитие педина.

Потом мы как-то случайно столкнулись на улице, пошли вместе. Он сообщил, что опять ищет работу. Там и сям, там и сям. В киностудии, где набирают массовку, Ефим ставил свою фотографию и ждет, что, может, его вызовут... Книжное издательство получило заказ на книжицу об одесском морском порте, он рассказал, как бы ее написал он, Ефим. Прочитывал мне самую первую фразу будущей книжки: "На белых парусах вле-

тает в наш порт далекая чужеземная волна. Она швыряет в берег букет пены, который несла так долго, так бережно...". Что-то в этом роде...

Разговаривая, мы встретили знакомого Ефима, он пригласил нас к себе. Приятели еще по дороге завели разговор, в котором я снова мало что понимал: они говорили о каком-то гениальном поэте, о котором я и не слыхивал на своем краснознаменном флоте, приводили его строчки, казавшиеся мне престранными, иноязычием, что-то вроде: "Рояль дрожащий пену с губ оближет. Тебя сорвет, подкосит этот бред...".

Я, понятно, молчал; Ефим время от времени бросал на меня быстрый и соболезнующий взгляд; я молчал, но лицо мое, видимо, выдавало внутреннее напряжение: я старался хоть что-то понять...

Я слушал Ефима молча долго — может быть, год. Потом — робко — заговорил. Он прислушался... Поправил, подхватил... Я понял, что слушал не зря. Из Слушателя я стал Собеседником.

Так-то я и попал через некоторое время в компанию "одесских уличных философов", как назвал Исаак Бабель племя молодых людей, населяющих ночные улицы города.

Они ходят парами, редко втроем, "роняя слова, как сад янтарь и cedру", читая в такт шагам стихи — чужие и свои, написанные давно и вчера, и произнося только что рожденную строчку, словно считав ее с асфальта, на котором ветер раскачивает фонарные тени платанов и каштанов, отчего немного кружится голова.

Они читают и читают стихи, произнося их торжественно, высоко, гулко в коридоре улицы, — словно молясь, словно заклиная чей-то дух явиться сюда, призывают его каждой строчкой в собеседники, в слушатели, в свидетели... Они ходят в такую ночь по краю чуда — и вдруг, качнувшись вместе с тенью дерева на асфальте, переступают какую-то границу — и дух великого поэта, жившего некогда здесь, вняв наконец призыву, влетает в кого-то из них двоих либо касается его лба кончиком крыла, и тот вдруг останавливается, осененный, и, задыхаясь, спешит сообщить напетое духом (небрежно брошенное сверху) целое четверостишие. Четверостишие, проложенное темными полосками одесской июльской ночи.

Но чаще всего за время ночи рождалась всего лишь одна строчка, но — гениальная:

Скорбим, как будто мы бессмертны...

Оба поэта повторяют ее так и этак; громкие их голоса заставляют шевелиться голубей на карнизах, и галки высоко на платанах спрашивают друг у друга спросонья: что случилось?

Скорбим как будто... Мы — бессмертны!

Скорбим как будто мы, бессмертны...

Скорбим как! Будто мы бессмертны.

Но вот в чем беда. Стрела этой строки, вылетев из лука и зачав полет, не понеслась дальше, понуждая поэта, увидевшего на мгновение далекую цель, вытянуть из колчана и другую стрелу, она была перехвачена на лету, собеседники стали перебрасывать ее, еще горячую, из рук в руки, и она стыла на глазах, движение в ней пропало, далекая цель, мелькнув, исчезла, и следующая стрела так и осталась в колчане...

Ах, каким гениальным могло быть это стихотворение! Но какая, какая за этой строчкой идет следующая строка?! В какую цель было устремлено ее острие?

Мои поэты идут молча, что-то все же бормоча про себя, примеряя то одну, то другую строчку к первой, но ни одна уже не подходит. По количеству энергии, заложенной в первую, все остальные ниже. Инерция кончилась, движения нет, запал иссяк. Стихотворения уже никогда не будет.

Началами стихов одесских уличных философов засеяны цветочные клумбы центральных улиц. Может быть, они взойдут когда-нибудь невиданными цветами, и какой-нибудь молодой и веселый бродяга легко нарвет целый их букет...

А еще они ходят друг к другу — по протоптанной дорожке, а вернее, по кругу, навещая одних и тех же приятелей. Все они живут в бедных маленьких квартирках с темными потолками и стенами, с газовой плитой у входной двери, с туалетом во дворе, они живут, как правило, с больными или не очень здоровыми мамами; единственная комната разделена на два помещения: большее — мамино, где мама не сходит с кровати, в меньшем на неработающей плите рядом с узкой кое-как застеленной кроваткой — гора самых разных книг с закладками меж страниц, книг, открытых на какой-то странице, так и не перевернутой, пожелтевшие рукописи, фотографии, рисунки-шаржи, надписанные, но не отосланные конверты, клочки бумаги с горстью карандашных слов... Главенствует однако здесь, здесь царь и бог — пишущая машинка, какой-нибудь "Ундервуд". Эта машинка — она воздвигнута на самом видном отовсюду месте, а особенно от входной двери, — эта машинка покрыта давней пылью, она бездействует, но она же и действует, ибо является постоянным напоминанием хозяину о его долге и призвании: сесть однажды — ах, сесть однажды! — к этой маленькой пирамиде, стереть с клавишей пыль и застучать, застучать, увековечивая черной краской заветные слова, вы-

держанные, отстоявшиеся, проверенные месяцами, годами, может быть, уже — десятилетиями...

Они ходят друг к другу по кругу. Они встречаются, закуривают, гость, сидя на продавленном диване, поглядывает быстрым искоса взглядом на хозяина, тот стоит перед ним, о чем-то рассказывает, размахивая руками, тараша блеклые голубые глаза... Но кто-то уже звонит в дверь, ему открывают, он входит — притворно скромный, а на самом деле смертельно ядовитый, со сладенькой улыбочкой на змеиных устах, Гриша, "мудрый и лукавый"... Открывает сладко-ядовитый рот:

— Ну-с, какие новации в вашей организации? — берет со стола сигарету и закуривает, и садится в самый угол дивана, продавив его чуть ли до пола, задрав колени чуть не подбородка. — Так какие новации?..

Начинается обмен найденными строками, ибо главные новости в этой "организации" — строки, то из ненаписанной прозы, то из недописанного стихотворения. То один, то другой, подхватив инерцию, заключенную в сказанной строке, сообщает вторую, может быть, даже — третью (и останавливается)... Под темным потолком возникает устный рассказ — не длинный, невиданный, вызывающий, смешной, хулиганствующий, законченный гениально — в стиле самых великих, чьи духи, не исключено, посетили на минуту-другую комнату с продавленным диваном и пишущей машинкой на самом видном месте.

Мой гуру, обладающий феноменальной памятью и самым изысканным литературным вкусом, поспешив после этой беседы домой (а скорее, сорвавшись неожиданно), спешно записывает дома (согнувшись над подоконником: стола у него нет, согнувшись, хихикая, переминаясь с ноги на ногу) рассказ на клочке бумаги, рассказ, начатый, кстати, его возмутительной строкой и законченный либо им же, либо "мудрым и лукавым".

Большинство творений удивительных этих ребят — коллективное творчество. Творчество небольшого избранного проверенного и опустылевшего круга людей, чем-то одним похожих друг на друга.

(Один из одесситов, не менее "великий", чем те, о ком я рассказываю, но так и не опубликовавший за свою жизнь ни строки, зато много чего сообщивший ценного своим слушателям, на эту мою фразу отозвался очень эффектно:

— Любое творчество коллективно! — и повторил: — Все человеческое творчество коллективно!

Раньше я бы с ним согласился полностью, теперь — на четверть. Может быть, — на треть. А вообще...)

В то время, о котором я пишу, почти ничего из сочиненного свободолюбивыми одесситами опубликовано быть не могло. Сначала у них были кое-какие надежды, после — иссякли. И они стали писать... еще свободнее. Точнее — они все чаще стали на страницах (и клочках бумаги) просто-напросто хулиганить, показывая нахальнейшую из фиг официальной советской литературе и давая время от времени короткие образцы того, как можно и нужно писать.

В иную строку знакомый мне одессит вкладывал столько энергии, сколько другому хватило бы на рассказ. (Примерно так, между прочим, высказался Пастернак, почитавший дневники Пришвина.) Но одессита никто не печатал, и праздника, какой испытывает пишущий с выходом номера газеты с его стихотворением, а тем более с выходом собственной книги, никто из них тогда не испытал. (И они, повторю, стали писать... еще свободнее. И — еще короче.)

Мой Ефим работал, например, преподавателем русской литературы и языка в вечерней школе рабочей молодежи, да и то от поры до поры. Молодежь эта приходила на уроки после восьмичасового дня у станка и тарашила закрывающиеся от усталости глаза на Великолепного Ефима, который, широко расшагивая у доски, читал им ни с того ни сего:

...Для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там...

Читал — и искося и быстро на учеников поглядывал, словно желая понять в аудитории главное.

Он часто называл себя пророком с продранными локтями...

И все-таки был, был в нашей жизни (в нашем приятельстве, во встречах наших) эпизод, где присутствует движение, энергия, сюжет, в конце концов.

...Ночью мы идем с Ефимом к морю. Это за городом — там, где собственные дома, дачи, сады. Над морем яркая круглая луна. Она освещает узкую улочку, по которой мы бредем, не разбирая дороги, кусты цветущей сирени над калитками. Сквозь черную листву серебряно светятся крыши.

Все сказочно, все полно значения, все, что мы видим, неоднозначно. И — вторично. Сирень не назовешь просто сиренью, ибо это сирень Врубеля, ибо это "глубокий обморок сирени" Мандельштама, ибо это "соски сирени" Заболоцкого, в самом деле — гроздь ее тяжелы, округлы, душисты...

Что же еще, что же еще нового можно сказать о сирени?

Молочно светящаяся табличка на калитке, полускрытая кустами цементная дорожка к дому, свет настольной лампы из-за шторы, крадущееся к луне хищного облика облако — все это только части того цельного и огромного, что называется майской ночью у моря, когда светит полная луна.

На море лежит лунная дорожка.

Дорожка, похоже, выложена живой трепещущей рыбой. Нет, это мост! Длинный — до самого ночного горизонта, где под луной лежит светлая площадка, — висячий мост, сверкающий золотом и звенящий серебром, сказочный мост, выстроенный, как известно из русских сказок, за одну только ночь.

"Вот тебе твой мост, — сказал Иван-дурак царю, показывая на лунную дорожку, — вот тебе заказанный тобою мост, — сказал Иван-дурак-поэт".

Мы стоим высоко над морем: берег внизу и вдали, к нему ведет тонущая в темноте деревянная лестница.

Здесь все сотворено из двух изначальных материалов — Тьмы и Света. Наверное, бог-художник, сказав: "Да будет свет!" — вызвал сначала из небытия луну и, вдоволь налюбовавшись Первым Пейзажем, пригласил в дневные светила солнце.

Мы стоим очарованные, подавленные храмово величественным зрелищем, мы искоса поглядываем друг на друга и боимся произнести хоть слово — найди-ка его, соразмерное тому, что мы видим!

В горле моего гуру начинает kloкотать, но он не выпускает рвущихся наружу слов. Он судорожно хватается ртом воздух, извиваясь даже, чтобы помочь вдоху, забрасывает голову, стонет...

Луна сияет, как новая монета, она кажется звонкой, как щит, луна светит, как прожектор, луна висит над морем, как часы, под которыми принято назначать свидание...

Мой гуру бормочет, прикашливая:

— Луна... полночная луна... Когда... — и неожиданно, словно что-то или кого-то услышав, замирает. Слушает, запрокинув голову... Потом поднимает руку, поворачивается ко мне. Гордый, вознесшийся надо мной, как памятник, — профиль его врезан в луну, — выждав паузу, чтобы аудитория настроилась, произносит:

Когда над Черным морем полночь
Пробьет торжественно луна,
Я призову тебя на помощь,
Тебя, эвксинская волна.

Из бесконечности, оттуда,
— он показывает рукой в темь моря, —
Накатит первая строка, —
И вздрогнет жаждущая чуда
Поэта рука!

Там, где пушкинское многоточие, было некое та-та-та, некий, вернее, гул, заменявший три слога еще не найденного слова.

— Кто это? — взволнованно спрашиваю я. — Это...

— Это я! — гордо отвечает мой гуру. И, сойдя с пьедестала, делает торжественный приглашающий жест к лестнице, к берегу моря, к волне.

Мы спускаемся по ней, и на первой же площадке, на скамейке, находим — как подарок, как приз, как приношение — початую бутылку шампанского и букет махровых гвоздик!

— А?! — победоносно оборачивается ко мне Ефим — он словно знал, что внизу нас ожидает шампанское.

— Да, — соглашаюсь я, из осторожности все же нюхая вино, — да, да...

Стихотворение заносится при лунном свете в блокнот. Мы делим пополам букет и, отпивая глоток за глотком шампанское, долго слушаем доносящийся снизу накат прибойной волны. Ефим повторяет стихотворение, пробуя строку этак и так:

Из бесконечности, из мрака...

Из темноты, из первородства...

То стихотворение, насколько я знаю, так и не было дописано, а недостающее слово не было найдено. Первоначальный его смысл затерялся в вариантах, написанных потом...

Не знаю, что тому виной. Может, сам город, где лучше всего думается, сочиняется на улицах и вдвоем, где так трудно усидеть дома, слыша за окном шумящую, поющую, зовущую к себе жизнь? Радость, ожидающая тебя за дверью, кажется заманчивей и ближе, чем радость от рождения следующей строчки, и ты бросаешь перо... (Потом, спустя годы, он предложил найденное слово: "поэта легкая рука...". С легкой руки поэта? Не знаю, может быть...)

"...Как-то сидел я весь в грустях, — писал мой гуру в своем романе с гениально-уничжительным названием "Провинциальный роман-с", рома-

не, состоящем из небольших кусочков прозы, — сидел, опустив ноги в чемодан с рукописями. Бумаги мои — дни мои, вечера и ночи, разделенные годами, десятилетиями, — давно жили друг с другом, роились... Выцветали чернила, за ними требовался уход, им хотелось воздуха, внимания. Они лежали все вместе, в непозволительной связи друг с другом. Вытащить все это, перетряхнуть, омыть слезами... Воздать должное, показать миру. А что стесняться, в самом деле!.. Ведь это были стихи, романы, мысли, эссе! Ведь это черт знает... Таким Николаем Васильевичем Гоголем чувствуешь порой себя, что... Не знаешь, право, что и подумать. Вытащу, вытащу их на свет Божий, и да станет сокровенное откровенным!..

И пришел Гриша, и спросил, естественно:

— Принимаешь ножные ванны?

Как прекрасно, как хорошо спросил!.."

.....

Одесса — Нью-Йорк

От редакции. Поздравляем нашего любимого и уважаемого автора Ефима Ярошевского с 75-летием и в полном соответствии с традициями его предков желаем не только дожить, но и доработать в литературе до 120 лет.

